

# Лекция 1. Вопросы метода

10 января 1979 г. Вопросы метода. — Допущение несуществования универсалий. — Резюме курса предыдущего года: ограниченность государственных интересов (внешняя политика) и безграничность интересов государства полисии (внутренняя политика). — Право как принцип внешнего ограничения государственных интересов. — Программа курса этого года: политическая экономия как принцип внутреннего ограничения правительственных интересов. — Общая цель исследования: соединение серии практик — режим истины и результаты его вписывания в реальность. — Что такое либерализм?

[Все вы знаете] фразу, приводимую Фрейдом: «Acheronta movebo»<sup>1</sup> Итак, я хотел бы поместить курс этого года под знаком другой цитаты, менее известной и приведенной куда менее известным человеком, а именно английским государственным деятелем Уолполом,<sup>2</sup> который относительно собственной манеры правления говорил: «Quieta pop movege»,<sup>3</sup> «Пребывающего в покое касаться не следует». Это противоположно по смыслу Фрейду. В этом году я хотел бы в каком-то смысле продолжить то, о чем я начал говорить вам в прошлом году, то есть очертить историю того, что можно было бы назвать искусством управлять. «Искусство управлять» — вы помните, в каком очень узком смысле я его понимал, поскольку я использовал слово «управлять», отказавшись от тех тысяч способов, модальностей и возможностей, существующих для руководства людьми, направления их поведения, побуждения их к действиям и реакциям и т. п. Я отказался, таким образом, от всего, что мы обыкновенно понимаем и что так долго понималось под детоводительством, управлением семьями, домоправлением, управлением душами, управлением общинами и т. п. В этом же году я буду принимать во внимание лишь управление людьми в определенном измерении, лишь в том измерении, где оно задается как осуществление политического суверенитета.

Таким образом, это «управление» в узком смысле, но также «искусство», «искусство управлять» в узком смысле, поскольку под «искусством управлять» я понимал не то, как в

действительности управляют правители. Я не изучал и не хочу изучать реальную управленческую практику, такую, какой она развивалась, определяя там и тут ситуацию, возникающие в связи с этим проблемы, избираемые тактики, используемые инструменты, проекты переустройства и т. п. Я хотел изучить искусство управлять, то есть способ мыслить наилучшее управление, а также и в то же время рефлексию о наилучшем из возможных способов управлять. Другими словами, я пытался ухватить инстанцию рефлексии в практике управления и о практике управления. В определенном смысле я, если угодно, хотел изучить именно самосознание управления, но при этом слово «самосознание» для меня неприемлемо, и я его не использую, поскольку предпочитаю говорить, что то, что я исследовал, и то, что я хотел бы в этом году вновь попытаться ухватить, это то, как извне и изнутри управления, а прежде всего из самой практики управления, пытались концептуализировать эту практику, состоящую в том, чтобы управлять. Я хотел бы попытаться определить то, как сложилась область практики управления, ее различные объекты, ее общие правила, весь этот предметный ансамбль, предназначенный для наилучшего из возможных способов управления. В целом, если хотите, это изучение рационализации правительственной практики при осуществлении политики суверенитета.

Это непосредственно приводит нас к выбору определенного метода, к которому я еще вернусь, когда у меня будет побольше времени, а сейчас я сразу хотел бы вам сказать, что, раз уж я решил говорить о или отталкиваться от практики управления, совершенно ясно, что придется отказаться как от первичного, изначального объекта как данности, от многих понятий, таких, например, как суверен, суверенитет, народ, подданные, государство, гражданское общество: от всех этих универсалий, которые используют, характеризуя практику управления, социологические исследования, так же как исследования исторические и исследования политической философии. Я хотел бы сделать нечто прямо противоположное, то есть исходить из этой практики как она есть, но в то же время как она осмысливается и рационализируется, чтобы, исходя из этого, посмотреть, как могут в действительности конституироваться такие вещи, как государство и общество, суверен и его подданные и т. п., статус которых, конечно же, надо выяснить. Другими словами, вместо того чтобы исходить из универсалий, выводя из них конкретные явления, или вместо того чтобы отталкиваться от универсалий как от понятийной сети, обязательной для некоторых конкретных практик, я хотел бы исходить из самой конкретной практики и, так сказать, пропустить универсалии через сеть этих практик. Не можем ли мы, толкуя о том, что можно назвать историцистской редукцией, спросить, из чего складывается сама историцистская редукция? Точнее говоря, исходить из этих универсалий, как они даны, и рассмотреть историю или ее модели, или ее модификации, или в конце концов установить ее несостоятельность. Историцизм исходит из универсального и пропускает его, так сказать, через жернова истории. Моя задача прямо противоположна. Я исхожу из одновременно теоретического и методологического решения, состоящего в следующем: предположив, что универсалий не существует, я задаю вопрос истории и историкам: как вы можете писать историю, если вы не допускаете а priori, если такие вещи, как государство, общество, суверен, его подданные, не существуют? Точно так же я ставил вопрос, говоря: существует ли безумие? Я хочу посмотреть, говорит ли история, как она мне дана, о такой вещи, как безумие. Нет, она не отсылает к такой вещи, как безумие, а значит, безумия не существует. Это не было доказательством, фактически это не было даже методом. Метод состоял в том, чтобы сказать: давайте предположим, что безумия не существует. Тогда что же это за

история, которая все эти разнообразные события, эти различные практики упорядочивает посредством предположения о существовании безумия?<sup>4</sup> Таким образом, здесь я хотел бы предложить нечто прямо противоположное историцизму. Не поверять универсалии, используя критический метод истории, но исходить из утверждения о несуществовании универсалий, спрашивая, как возможна история. К этому я еще вернусь.<sup>5</sup>

В прошлом году, как вы помните, я попытался проанализировать один из самых важных, как я полагаю, эпизодов в истории управления. Этот эпизод в целом сводился к появлению и становлению того, что в то время называли государственными интересами, в бесконечно более сильном, более точном, более строгом, более широком смысле, чем тот, который получило это понятие впоследствии.<sup>6</sup> Что я пытался зафиксировать, так это появление в практике управления определенного типа рациональности, того типа рациональности, который позволяет регламентировать способ управления тем, что называется государством, и который по отношению к этой практике управления, по отношению к этому просчитыванию практики управления выступает одновременно данностью, поскольку управлять можно лишь уже существующим государством, управлять можно лишь в рамках государства; все это так, но само государство в то же время оказывается целью этой деятельности. Государство — это то, что существует, но существует в недостаточной степени. А государственные интересы — это как раз практика или, скорее, рационализация практики, ситуированная между государством, представленным как данность, и государством, представленным как созидание и строительство. Искусство управлять, следовательно, должно зафиксировать свои правила и рационализировать свои приемы, полагая себя некоторым образом в качестве цели существования государства. Деятельность правительства должна идентифицироваться с целеполаганием государства. Государство как данность, таким образом, есть правительственное *ratio*, то, что позволит ему обдуманно, разумно, просчитанным способом приблизиться к максимуму своего бытия. Что значит управлять? Управлять согласно принципу государственного интереса — значит стараться, чтобы государство могло сделаться прочным и устойчивым, чтобы оно могло стать богатым, чтобы оно могло противостоять всему, что может его разрушить.

Пара слов о том, что я пытался сказать в прошлом году, чтобы вкратце резюмировать прошлогодний курс. Я хотел бы подчеркнуть два или три пункта. Вы помните, что характеризовало ту новую рациональность управления, названную государственными интересами, которая в целом конституировалась на протяжении XVI века, когда государство определилось и выделилось как одновременно специфическая и автономная реальность — во всяком случае, относительно автономная. Правитель государства должен, конечно, соблюдать некоторые принципы и правила, которые довлеют и господствуют над государством и которые внешни по отношению к государству. Правитель государства должен соблюдать божественные, моральные, естественные законы как законы, внутренне присущие государству. Но, соблюдая эти законы, правитель преследует совсем иную цель, нежели обеспечить спасение своим подданным в загробной жизни, тогда как в Средние века правитель обычно рассматривался как тот, кто должен помочь своим подданным спастись в загробном мире. Отныне правитель государства больше не обязан заботиться о спасении своих подданных в загробном мире, по крайней мере непосредственно. Не обязан он и простирает на них свою отеческую благосклонность и устанавливать с ними отношения как между отцом и детьми, тогда как в Средние века отеческая роль суверена неизменно

подчеркивалась. Иными словами, государство не является ни домом, ни церковью, ни империей. Государство — это особая и дисконтинуальная реальность. Государство существует только для себя самого и по отношению к самому себе, какой бы ни была система зависимости, связывающая ее с такими системами, как природа или Бог. Государство существует только само по себе и для себя самого, оно существует только как множественность, то есть не стремится в близком или отдаленном историческом горизонте к растворению или подчинению какой-либо имперской структуре, которая сводится к своего рода теофании Бога в мире, теофании, ведущей людей к объединению в человечество перед самым концом света. Государство, таким образом, не интегрируется в империю. Государство существует только как государства, во множественном числе.

Специфичность и множественность (*pluralité*) государства. Что касается этой множественной специфичности государства, я уже пытался показать вам, что она приняла форму нескольких выверенных способов управлять, одновременно способов управлять и соответствующих этим способам институций. Во-первых, в экономике это был меркантилизм как форма управления. Меркантилизм — не экономическая доктрина, это нечто гораздо большее, нечто совсем иное, нежели экономическая доктрина. Это определенная организация производства и коммерческих оборотов, соответствующая принципу, согласно которому государство должно 1) обогащаться за счет монетарного накопления, 2) становиться сильнее благодаря росту населения, 3) постоянно находиться и выживать в состоянии конкуренции с иностранными державами. Вот что такое меркантилизм. Второй способ организации и практической формы управления в соответствии с государственными интересами — это управление внутренними делами, то есть то, что в ту эпоху называли полицией, непрерываемая регламентация страны в соответствии с компактной моделью городской организации. Наконец, в-третьих, создание постоянной армии и столь же постоянной дипломатии. Если хотите, организация постоянного военно-дипломатического аппарата, цель которого — поддерживать множественность государств без какого-либо имперского поглощения и таким образом, чтобы между ними могло установиться некоторое равновесие, дабы унификация имперского типа в конечном счете не охватила всю Европу.

Таким образом, меркантилизм, это государство полисии, является оборотной стороной европейского баланса: все это было конкретной формой нового искусства управлять, упорядочиваемого принципом государственных интересов. Три способа (впрочем, опирающихся один на другой) управлять, сообразуясь с интересами, имеют в качестве своего принципа и области применения государство. Я как раз и пытался вам показать, что государство вовсе не есть естественно-историческая данность, которая развивается в своей собственной динамике в «бесстрастного монстра»,<sup>7</sup> семя которого брошено в определенный исторический момент и который мало-помалу пожирает его; государство вовсе не таково, государство — не бесстрашный монстр, оно коррелятивно определенному способу управлять. Проблема заключается в том, чтобы узнать, как развивается этот способ управлять, какова его история, как он побеждает, чем он ограничивается, как он распространяется на ту или иную область, как он изобретает, формирует, развивает новые практики, — вот в чем проблема, а не в том, чтобы делать из [государства] балаганного гиньоля, какого-то жандарма, который заявляется, чтобы поколотить тех или иных персонажей истории.

Несколько замечаний по этому поводу. Прежде всего: у этого подчиненного государственным интересам искусства управлять есть черта, которая, как мне представляется, для него характерна и важна для понимания дальнейшего. Дело, видите ли, в том, что государство, или скорее управление согласно государственным интересам, в своей внешней политике, вернее, в отношениях с другими государствами преследует цель, которая есть цель ограниченная, в отличие от того, что было в конце концов горизонтом, проектом, желанием большинства правителей и суверенов Средневековья, а именно — стать по отношению к другим государствам в ту имперскую позицию, которая позволила бы ему играть решающую роль одновременно в истории и в теофании. Вместо этого государственные соображения предполагают, что у каждого государства свои интересы, что оно должно, следовательно, их защищать, и защищать всемерно, однако цель его не должна состоять в том, чтобы прийти в конце времен к единой позиции всеобъемлющей и всеобщей империи. Оно не должно мечтать о том, чтобы стать империей последних дней. Каждое государство должно самоограничиваться в своих целях, утверждать свою независимость и обладать достаточными силами, что позволило бы ему никогда не оказываться в состоянии зависимости либо от всех остальных стран, либо от своих соседей, либо от самой сильной из других стран (различия в теориях европейского баланса той эпохи несущественны). Но, как бы то ни было, именно это внешнее самоограничение характеризует государственные интересы, заявляя о себе в военно-дипломатических аппаратах XVII века. В Вестфальском договоре в Семилетнюю войну — или, лучше сказать, в революционных войнах, принимающих самый разный характер, — эта военно-дипломатическая политика упорядочивается принципом самоограничения государства, принципом необходимого и достаточного соперничества между различными государствами.

А что же предполагает тот порядок, который сегодня назвали бы внутренней политикой, полицейским государством? Так вот, здесь предполагается цель или серия целей, которые можно назвать неограниченными, поскольку речь идет о том, что в государстве полисии те, кто управляет, осуществляют заботу и попечение о деятельности не только групп, не только различных сословий, то есть различных типов индивидов с их частным статусом, заботятся и о деятельности индивидов вплоть до мелочей. В великих трактатах о полисии XVII и XVIII в. авторы, пытающиеся свести воедино различные регламенты и систематизировать их, совершенно согласны в этом отношении и говорят об этом совершенно ясно: объект полисии — это объект почти бесконечный. То есть тот, кто властвует самодержавно наряду с другими властителями, тот, кто управляет согласно государственным интересам, ограничен в своих целях. Зато, отправляя публичную власть, регулирующую поведение подданных, тот, кто управляет, в своих целях не ограничен. Соперничество между государствами — поворотный пункт между этими ограниченными целями и целями неограниченными, поскольку для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими государствами, то есть поддерживать в определенном равновесии всегда неуравновешенное, поддерживать конкурентное равновесие с другими государствами, управляющий [обязан регламентировать жизнь] своих подданных, их экономическую деятельность, производство, цены, [по которым] они будут сбывать товары, цены, по которым они будут их покупать и т. п. [...] Ограничению международных целей правительства в соответствии с государственным интересами, этому ограничению в международных отношениях соответствует неограниченность отправлений государства полисии.

Второе замечание, которое я хотел сделать относительно функционирования государственных интересов в XVII и начале XVIII вв., относится к тому, что, конечно же, внутренняя цель, на которую обращалось управление согласно государственным интересам, или, если хотите, полицейское государство, не ограничена. Однако это вовсе не означает, что не было механизмов компенсации или, скорее, позиций, исходя из которых пытались установить предел, границу этой неограниченной цели, предписываемой государству полицией государственными интересами. Конечно же, было много попыток положить предел государственным интересам со стороны теологии. Но я буду говорить о другом принципе ограничения государственных интересов той эпохи — о праве.

Действительно, произошло нечто курьезное. На что, в сущности, опиралось усиление королевской власти на протяжении всего Средневековья? Опиралось оно, конечно же, на армию. А также на судебные институции. Как замковый камень правового государства, правовой системы, удвоенной армейской системой, король мало-помалу ограничил и упростил хитросплетения феодального права. Судебная практика была проводником королевской власти на протяжении всего Средневековья. Итак, когда начиная с XVI века, а главным образом с начала XVII века начинает развиваться новая правительственная рациональность, правом начинают пользоваться совсем не как точкой опоры какого-либо лица, которое ищет способ ограничить это бесконечное расширение государственных интересов, формирующееся в полицейском государстве. Теория права и судебные институции также будут служить отныне не усилению, но, напротив, ослаблению королевской власти. Таким образом, мы видим, как начиная с XVI и на протяжении всего XVII вв. возникает целый ряд проблем, споров, политических баталий, к примеру, вокруг основных законов королевства, тех основных законов королевства, которые юристы намерены противопоставить государственным интересам, говоря, что никакая правительственная практика, никакие государственные интересы не могут подвергать их сомнению. Они в некотором смысле предшествуют государству, поскольку для государства они конститутивны, а значит, какой бы абсолютной ни была власть короля, он не должен, говорят некоторые юристы, касаться этих основных законов. Право, конституируемое этими основными законами, оказывается, таким образом, вне государственных интересов и выступает принципом их ограничения.

Есть еще теория естественного права и естественных прав, оцениваемых как неотъемлемые права, которые никакой суверен ни при каких обстоятельствах не может преступить. Есть еще теория договора, заключенного между индивидами для утверждения суверена, договора, включающего некоторые условия, которым суверен должен подчиняться, поскольку именно благодаря этому договору и условиям, сформулированным в этом договоре, суверен оказывается сувереном. Есть еще (впрочем, больше в Англии, нежели во Франции) теория соглашения, заключаемого между сувереном и его подданными для конституирования государства, по которому суверен обязуется что-либо делать или не делать. Есть еще целое поле историко-юридической рефлексии, о которой, если мне не изменяет память, я вам говорил два или три года назад и в которой пытались утверждать, что исторически королевская власть возникла задолго до абсолютного правления, что причина господства суверена и его отношения к подданным не сводилась к государственным интересам, но была скорее чем-то вроде сделки, например между знатью и военачальником, которого первая просила принять на себя на время войны и, быть может,

немного дольше функции вождя. И именно в такого рода ситуации первобытного права мог появиться король, который потом злоупотребил ситуацией, поправ эти исторически первичные законы, которые теперь следует припомнить.

Короче, как бы то ни было, эти дискуссии вокруг права, оживленность этих дискуссий, интенсивное разворачивание всех проблем и теорий того, что можно назвать публичным правом, воскрешение всех этих тем естественного права, изначального права, договора и т. п., которые были сформулированы в Средние века в совсем ином контексте, — все это, так сказать, оборотная сторона, следствие и реакция на тот новый способ управления, который утверждался исходя из государственных интересов. Действительно, право, судебные институты, свойственные становлению королевской власти, теперь оказываются внешними и излишними для управления в соответствии с государственными интересами. Неудивительно, что все эти правовые проблемы всегда формулируются в первой инстанции теми, кто противится новой системе государственных интересов. Во Франции, например, это парламентарии, протестанты, тогда как дворяне ссылаются скорее на историко-юридический аспект. В Англии это буржуазия, выступающая против абсолютной монархии Стюартов, и религиозные диссиденты, появляющиеся начиная с XVII в. Короче, оппозиция всегда отказывается в праве государственным интересам, а следовательно, противопоставляет государственным интересам юридическую рефлексию, правовые нормы, инстанции права. Публичное право (давайте употребим это выражение) в XVII и XVIII вв. остается оппозиционным<sup>[9]</sup>, хотя некоторые теоретики, симпатизирующие королевской власти, вновь поднимают эту проблему и пытаются интегрировать эти правовые вопросы, эту постановку права под вопрос в государственных интересах и их обоснование. Как бы то ни было, есть одна вещь, на которой, думаю, мне надо остановиться. Даже если верно, что государственные интересы формулировались и манифестировались государством полисии, воплощались в государстве полисии, даже если эти государственные интересы направлялись на неограниченные цели, в XVI и XVII вв. постоянно предпринималась попытка ограничить их, и это ограничение, этот принцип, этот довод в пользу ограничения государственных интересов приходит со стороны юридического мышления. Как видите, это внешнее ограничение. Впрочем, юристам хорошо известно, что по отношению к государственным интересам их правовой вопрос имеет внешний характер, поскольку они определяют государственные интересы как нечто выходящее за пределы права.

То, что границы права внешни по отношению к государству, к государственным интересам, означает прежде всего что границы, которые пытаются установить для государственных интересов, есть границы, исходящие от Бога, или установленные изначально раз и навсегда, или сформированные в отдаленной истории. Говорить, что они внешни по отношению к государственным интересам, значит также утверждать, что их функционирование чисто ограничительное, драматическое, так как, по сути, возражать государственным интересам можно только тогда, когда государственные интересы преступают эти правовые границы и когда право может определить правление как незаконное, обвинить его в узурпации, а в пределе освободить подданных от обязанности повиновения.

Вот в целом то, как я пытался охарактеризовать тот способ управлять, который называется государственными интересами. Теперь я хотел бы перенестись примерно в середину XVIII

столетия, примерно (с оговоркой, которую я только что сделал) в ту эпоху, когда Уолпол сказал: «*siuieta non mouere*» («пребывающего в покое касаться не следует»). Я хотел бы перенестись в ту эпоху, когда, как мне кажется, мы просто обязаны констатировать важную трансформацию, характеризующую то, что можно было бы назвать современной мыслью о правлении. В чем состоит эта трансформация? В двух словах, она состоит в установлении принципа ограничения искусства управлять, который больше не был бы для него внешним, как право в XVII веке, [но] который был бы для него внутренним. Регулирование внутренне присуще правительственной рациональности. Что такое, обобщенно и абстрактно, это внутреннее регулирование? Как в конце концов можно различить его до всякой определенной и конкретной исторической формы? Что может быть внутренним ограничением правительственной рациональности?

Во-первых, это регулирование оказывается фактическим ограничением. Фактическим в том смысле, что оно не является правовым ограничением, даже если право не сегодня-завтра будет расписано в форме правил, которые нельзя нарушать. В любом случае сказать, что это фактическое ограничение, значит сказать, что, если правительство когда-либо нарушит это ограничение, преступит поставленные ему границы, оно тем не менее не станет иллегитимным, не утратит, так сказать, своей сущности, не окажется лишенным своих фундаментальных прав. Сказать, что существует фактическое ограничение правительственной практики, значит сказать, что правительство, которое пренебрегает этим ограничением, окажется просто правительством, не иллегитимным, не узурпатором, но неумелым, неадекватным правительством — правительством, которое не делает должного.

Во-вторых, присущее искусству управлять ограничение означает, что это ограничение, будучи фактическим, не является всеобщим. То есть речь идет не просто о каких-то советах быть осмотрительным, в тех или иных обстоятельствах указывающих, чего делать не стоит, от чего в тех или иных обстоятельствах лучше воздержаться, чем вмешиваться. Нет. Внутреннее регулирование означает, что существует ограничение фактическое, всеобщее, то есть такое, которое при любых обстоятельствах следует более или менее единой линии в зависимости от принципов, действующих при любых обстоятельствах. Проблема же состоит в том, чтобы точно определить эту границу, одновременно всеобщую и фактическую, которую правительство налагает само на себя.

В-третьих, внутреннее ограничение означает, что это ограничение, принцип которого нельзя отыскать, поскольку для этого нужно знать, на что опирается эта всеобщность, то есть, к примеру, естественные права, предписанные Богом всем людям, данным в Откровении, волеизъявление подданных, ставших таковыми в момент вступления в общество. Нет, это ограничение требует отыскать принцип, связанный не с тем, что внешне по отношению к правительству, но с тем, что внутренне по отношению к правительственной практике, то есть к целям правительства. И тогда это ограничение предстанет как одно из средств, быть может, как основополагающее средство достижения этих целей. Чтобы достичь их, нужно ограничить правительственную деятельность. Правительственные интересы не должны соблюдать эти границы потому, что где-то вне их, прежде государства, до государства существуют незыблемо установленные границы. Ничего похожего. Правительственные интересы должны придерживаться этих границ в той мере, в какой они полагают их по собственной инициативе, в зависимости от своих целей и как

лучшее средство их достижения.

В-четвертых, это фактическое, всеобщее ограничение, которое оказывается функцией самой правительственной практики, конечно же, устанавливает разделение между тем, что следует делать, и тем, чего делать не стоит. Оно маркирует ограничение правительственных действий, но это ограничение не распространяется на подданных, на индивидов-субъектов, которыми руководит правительство. То есть оно не определяет, какие подданные должны быть покорны в своих действиях и какие раз и навсегда получают свободу. Другими словами, правительственные интересы не раскалывают подданных на всецело свободных и обреченных на угнетение или покорность. В действительности это разделение создается не индивидами, людьми, подданными; оно создается самой областью правительственной практики или, скорее, в самой правительственной практике, проходя между тем, что можно сделать, и тем, чего делать нельзя, иначе говоря, между тем, что делается, и средствами к достижению этого, с одной стороны, и тем, чего делать не надо — с другой. Проблема не в том, каковы фундаментальные права и как фундаментальные права разделяют область возможного управления и область фундаментальной свободы. Линия раздела проходит между двумя сериями вещей, [которые] в одном из важнейших своих текстов, к которому я постараюсь вернуться, перечисляет Бентам, 9 раздел проходит между agenda и non agenda, тем, что нужно сделать, и тем, чего делать не нужно.

В-пятых, это ограничение, которое является ограничением фактическим, ограничением всеобщим, ограничением, зависящим от целей правительства, ограничением, отделяющим не подданных, но то, что следует сделать, это внутреннее ограничение делает очевидным, что управляет не тот, кто, обладая суверенитетом и разумностью, принимает самовластные решения[10]. И в той мере, в какой управление людьми есть не практика, внушаемая теми, кто управляет, тем, кем управляют, но практика, закрепляющая определение и соответствующие отношения управляющих и управляемых с другими и их отношение к другим, «внутреннее регулирование» означает, что это ограничение не навязывается ни одной стороной, ни другой, или во всяком случае не навязывается всецело, окончательно и тотально; я бы назвал это сделкой, в самом широком смысле слова «сделка», т. е. «действие между», целая серия конфликтов, соглашений, споров, взаимобмен: всевозможные перипетии, составляющие в конечном счете практику управления через фактическое разделение, всеобщее разделение, рациональное разделение между тем, что следует сделать, и тем, чего делать не следует.

Можно сказать, что правовой принцип, неважно, определяется он исторически или теоретически, обращается прежде всего к суверену и к тому, что он может сделать, как своего рода ограничение: ты не преступишь этой черты, ты не перешагнешь через это право, ты не нарушишь эту основополагающую свободу. Правовой принцип уравнивает в эту эпоху государственные интересы как внешний принцип. Как видите, он появляется во времена критики правительственных интересов. Эта критика правительственных интересов, или критика изнутри правительственных интересов, отныне, очевидно, не обращается вокруг вопроса об узурпации и легитимности суверена. Отныне она не имеет уголовного характера, какой имело публичное право XVI и XVII вв., когда говорили: если суверен преступит этот закон, он должен быть наказан за свое беззаконие. Для критики правительственных интересов речь идет о том, чтобы управлять не слишком много.<sup>10</sup>

Теперь выступают не против злоупотреблений суверенитетом, но против излишнего управления. И рациональность практики управления теперь измеряется чрезмерностью управления или, во всяком случае, указанием на то, что для правления чрезмерно.

Итак, эта трансформация, как мне представляется, лежит в основании отношений между правом и практикой управления; появление этого внутреннего ограничения правительственных интересов, как я сказал, прежде чем дать его абстрактную характеристику, в общих чертах обнаруживается в середине XVIII в. Что позволило ему появиться, как это произошло? Конечно, стоило бы принять в расчет (и к этому я впоследствии вернусь, хотя бы отчасти) всю трансформацию в целом, но сегодня я хотел бы подробнее обозначить, что за интеллектуальный инструмент, что за форма исчисления и рациональности сделала возможным самоограничение правительственных интересов, сама став объектом бесконечных трансакций. Итак, еще раз скажем, что этот интеллектуальный инструмент, тип исчисления, форма рациональности, позволившая правительственным интересам самоограничиться, не является правом. Что появляется начиная с середины XVIII в.? Очевидно, это политическая экономия.

«Политическая экономия» — сама двусмысленность этого выражения и его звучание в ту эпоху указывают на то, что под этим подразумевалось по сути, поскольку очевидно, что между 1750-м и 1810-1820-м гг. выражение «политическая экономия» перемещалось между различными семантическими полями. С недавнего времени это выражение предполагает нацеленность на некий анализ, строго ограниченный производством и обращением богатств. Однако под «политической экономией» в более широком и более практическом смысле понимается также всякий метод правительства, позволяющий обеспечить благосостояние нации. И наконец, политическая экономия — это выражение использовал Руссо в своей замечательной статье «Политическая экономия» в Энциклопедии<sup>11</sup> — так вот, политическая экономия — это что-то вроде общей рефлексии об организации, распределении и ограничении властей в обществе. Политическая экономия, как мне представляется, есть в своем основании то, что позволило утвердить самоограничение правительственных интересов.

Как и почему политическая экономия сделала это возможным? Я хотел бы сразу же — к деталям я обращусь немного позже — обозначить несколько моментов, которые, как мне кажется, необходимы для понимания того, о чем я хотел бы поговорить в этом году. Итак, во-первых, политическая экономия, в отличие от юридической мысли XVI и XVII столетий, развивалась не вовне государственных интересов. Она развивалась не вопреки государственным интересам и не для того, чтобы их ограничить, по крайней мере в первой инстанции. Напротив, она формировалась в рамках самих целей, которые государственные интересы ставили перед искусством управлять, но какие же цели преследовала в таком случае политическая экономия? Своей целью она полагала обогащение государства. Она полагала своей целью, с одной стороны, прирост населения (симультанный, коррелятивный и должным образом выверенный), и удовлетворение потребностей — с другой. Что же предлагала политическая экономия?

Поддерживать приемлемым, выверенным и беспроегрешным способом конкуренцию между государствами. Политическая экономия небезосновательно предлагала поддержание

определенного равновесия между государствами, чтобы могла иметь место конкуренция. То есть, она в точности повторяла цели, диктовавшиеся государственными интересами и сводившиеся к полицейскому государству, то есть к меркантилизму, который пытался осуществить европейский баланс. Таким образом, политическая экономия в первой инстанции размещается внутри тех правительственных интересов, которые определились в XVI и XVII вв., и в силу этого у нее не будет того внешнего положения, которое занимала юридическая мысль.

Во-вторых, политическая экономия не полагает себя как внешнее сопротивление государственным интересам и не требует для себя политической автономии, поскольку, и это исторически очень важный момент, первое политическое следствие первой экономической рефлексии в истории европейской мысли, так вот, [это] следствие приводит к тому, чего хотели юристы. Оно заключается в необходимости тотального деспотизма. Первая политическая экономия — это, конечно, политическая экономия физиократов, а физиократы, как известно (к этому я еще вернусь), на основании своего экономического анализа заключали, что политическая власть должна быть властью без внешних ограничений, без внешнего противовеса, без границы, происходящей из чего-либо иного, нежели она сама, и именно поэтому они призывали к деспотизму.<sup>12</sup> Деспотизм — это экономическое правление, сдерживаемое в своих границах не чем иным, как экономикой, которую он сам же определяет и которую сам он всецело контролирует. Деспотизм абсолютен, а потому очевидно, что политическая экономия не меняет его очертаний, задаваемых государственными интересами, во всяком случае в первой инстанции или на этом уровне, и что политическая экономия может появиться лишь в правовом регистре государственных интересов, дающем монарху тотальную и абсолютную власть.

В-третьих, над чем размышляет политическая экономия? Что она изучает? Не какие-то предсуществующие права, вписанные либо в человеческую природу, либо в историю данного общества. Политическая экономия размышляет над самими правительственными практиками, а не вопрошает с точки зрения права, легитимны или нет эти правительственные практики. Она рассматривает их не с точки зрения их происхождения, но с точки зрения их результатов, спрашивая, например, не «что позволяет суверену взимать налоги?», но просто «когда взимается налог, когда налог взимается в этот определенный момент, от какой категории лиц или от какой категории товаров можно получить прибыль?». Неважно, легитимно это право или нет<sup>[11]</sup>, проблема в том, чтобы узнать, каковы его следствия, и могут ли эти следствия быть отрицательными. Вот тогда говорится, что обсуждаемый налог иллегитимен или, во всяком случае, что он не имеет разумного основания. Но происходит это всегда внутри поля правительственной практики и в зависимости от ее результатов, а не в зависимости от того, что могло бы дать ей правовое обоснование, потому что экономический вопрос ставится так: «каковы реальные результаты руководства, к которым привело его осуществление?», а не «на каких изначальных правах основывается это руководство?». Такова третья причина, в силу которой политическая экономия со своей рефлексией, со своей новой рациональностью смогла занять место, если угодно, внутри практики и правительственных интересов, утвердившихся в предшествующую эпоху.

Четвертая причина заключалась в том, что, отвечая на такого рода вопросы, политическая экономия выявила существование явлений, процессов и закономерностей, которые с необходимостью подчиняются умпостигаемым механизмам. Эти умпостигаемые и необходимые механизмы, конечно, могут противоречить некоторым формам руководства, некоторым правительственным практикам. Они могут быть противоречивыми, они могут быть запутанными, они могут быть неясными, но, как бы то ни было, их нельзя избежать, их нельзя полностью и окончательно устранить. Так или иначе, они возвращаются в правительственную практику. Иначе говоря, что политическая экономия обнаруживает, так это не предсуществующие осуществлению правления естественные права, но некую присущую самой практике управления природу. Объектам правительственной деятельности присуща некая природа. Самой правительственной деятельности присуща некая природа, именно ее и будет изучать политическая экономия. Представление[12] о природе полностью меняется с появлением политической экономии. Для нее природа — не резервная и исходная область, на которую осуществление власти не распространяется, оказываясь иллегитимным. Природа — это то, что проходит под, через, в осуществлении управления. Это, если угодно, необходимая ему гиподерма. Это что-то вроде оборотной стороны видимого, видимого для правителей — так сказать, их собственные действия. Их собственные действия имеют изнанку или, скорее, другую сторону, и эту другую сторону управления как раз и изучает в своей очевидной необходимости политическая экономия. Не подложку, но неизменный коррелят. Так, например, экономисты объясняют, что стремление населения ко все более высокой заработной плате — это закон природы; что повышение барьерного таможенного тарифа на продукты питания неизбежно влечет за собой голод, — это закон природы.

Наконец, последний момент, объясняющий, как и почему политическая экономия смогла представить себя как первую форму этого нового правительственного самоограничивающегося *ratio*, заключается в том, что, раз существует присущая управлению в его целях и действиях природа, как следствие правительственная практика не может ее касаться. Если она пренебрегает этой природой, если она не принимает ее в расчет или идет против законов, запечатленных этой природностью в подвергающихся ее воздействию объекта, незамедлительно возникнут негативные для нее самой последствия; иначе говоря, возможны успех или поражение, и именно они оказываются теперь критериями правительственных действий, а вовсе не легитимность или иллегитимность. Успех вместо [легитимности].[13] Мы затронули общую проблему утилитаристской философии, о которой теперь придется поговорить. Как видите, утилитаристская философия должна быть включена в эти новые вопросы управления (не обязательно сразу, но мы вернемся к этому).

Успех или поражение, таким образом, занимают место разделения «легитимность/иллегитимность», но есть и еще кое-что. Почему правительство, вопреки собственным целям, попирает природу, присущую объектам, которыми оно манипулирует, и действиям, которые оно производит? Почему оно совершает насилие над этой природой в ущерб взыскиваемому успеху? Насилие, излишество, злоупотребление, конечно, возможны, но все не так просто — в основании этих излишеств, насилия, злоупотребления лежит не просто злокозненность государя. Объясняется это тем, что правительство в самый момент нарушения законов природы их просто недооценивает. Недооценивает, потому что

игнорирует их существование, их механизмы, их следствия. Другими словами, правительства могут заблуждаться. И наибольшее зло для правительства, причина того, почему оно дурно, заключается не в том, что государь плох, а в том, что он невежествен. Короче говоря, в искусство управлять благодаря политической экономии вводятся, во-первых, возможность самоограничения, благодаря которой правительственная деятельность сама себя ограничивает в зависимости от природы того, что оно делает и к чему оно приходит, [а во-вторых, вопрошание об истине].[14] Возможность ограничения и вопрошания об истине — две эти вещи вводятся в правительственные интересы благодаря политической экономии.

Вы, конечно, скажете, что вопрос об истине и вопрос о самоограничении правительственной практики ставятся не впервые. В конце концов, что традиционно понимали под мудростью государя? Мудрость государя — это то, что заставляло государя говорить: я слишком хорошо знаю законы божьи, я слишком хорошо знаю человеческие слабости, я слишком хорошо знаю свои собственные пределы, чтобы не умерять свою собственную власть, чтобы не уважать права моего подданного. Однако очевидно, что это отношение между принципом истины и принципом самоограничения совершенно различно в мудрости государя и в том, что появляется теперь, то есть в правительственной практике, озабоченной тем, чтобы знать, как поступать с объектами, к которым она обращается и которыми манипулирует, и каковы естественные следствия предпринятого. Осторожные советчики, прежде устанавливавшие пределы отпущенной государю мудрости, не имеют ничего общего с теми экспертами-экономистами, которые появляются теперь и которые имеют своей задачей говорить правительству всю правду о естественных механизмах того, с чем оно имеет дело.

Таким образом, политическая экономия открывает эпоху, принцип которой можно сформулировать так: правительство никогда не знает достаточно, а потому всегда рискует управлять слишком много, или еще: правительство никогда толком не знает, как управлять в достаточной мере. Принцип максимума/минимума в искусстве управлять заменяет это понятие беспристрастного равновесия, «беспристрастного правосудия», прежде упорядочивавшего мудрость государя. В этой проблеме самоограничения посредством принципа истины я усматриваю один замечательный момент, который политическая экономия ввела в неограниченную презумпцию государства полисии. Очевидно, это основной момент, поскольку в своих важнейших чертах он определяет, разумеется, не господство истины в политике, но определенный режим истины, характерный для того, что можно назвать эпохой политики, основной диспозитив которой сегодня, в общем-то, все тот же. Когда я говорю о режиме истины, я не хочу сказать, что политика или, если угодно, искусство управлять становится наконец в эту эпоху рациональным. Я не хочу сказать, что в этот момент достигается некий эпистемологический порог, начиная с которого искусство управлять сделалось бы научным. Я хочу сказать, тот момент, что я пытаюсь сейчас обозначить, отмечен артикуляцией серии практик определенного типа дискурса, с одной стороны, конституирующего его как ансамбль интеллигибельных связей, а с другой — устанавливающего и диктующего законы этих практик в терминах истинного или ложного.

Конкретнее, речь идет о следующем. По сути, в XVI и XVII вв., а то и раньше, и вплоть до середины XVIII в. существовала целая серия практик, таких как фискальные налоги,

таможенные тарифы, регламенты производства, регламентации тарифов на зерно, защита и кодификация рыночных практик; но, в конце концов, чем они были и как их мыслили? Их мыслили как отправление государевых прав, феодальных прав, как поддержание обычаев, как эффективные способы обогащения казны, как техники, позволяющие избежать городских бунтов из-за недовольства той или иной категории подданных. В конце концов все эти практики, конечно, осмыслялись, но осмыслялись исходя из событий и различных принципов рационализации. Между такими различными практиками, как таможенный тариф налогообложения, регламентация рынка и производства и т. п., начиная с середины XVIII века можно установить обдуманые, осмысленные связи; связи, создаваемые умопостигаемыми механизмами, которые связывают эти разнообразие практики и их результаты друг с другом и которые, таким образом, позволяют судить о них как о хороших или плохих не в зависимости от закона или нравственного принципа, но в зависимости от пропозиций, которые сами разделяются на истинные и ложные. Таким образом, целая область правительственной деятельности отныне переходит в новый режим истины, а этот режим истины имеет своим фундаментальным следствием иную постановку всех тех вопросов, которые прежде ставило искусство управлять. Раньше вопросы ставились так: хорошо ли я правлю с точки зрения моральных, естественных, божественных и т. п. законов? Таким образом, вопрос ставился о правительственной сообразности. Затем, в XVI и XVII столетиях, он ставился в соответствии с государственными интересами: управляю ли я достаточно хорошо, достаточно интенсивно, достаточно основательно, в достаточной мере входя в частности, чтобы государство существовало как должно, чтобы сделать государство максимально сильным? Теперь же проблема такова: управляю ли я в пределах между излишеством и недостаточностью, между максимумом и минимумом, которых требует природа вещей, то есть: какова внутренняя необходимость в действиях правительства? Так проявляется этот режим истины как принцип самоограничения правления; это и есть то, что я хотел бы обсудить в этом году.

В конце концов именно эту проблему я ставил в связи с безумием, болезнью, преступностью, сексуальностью. Во всех этих случаях речь идет не о том, чтобы показать, как эти объекты долго оставались скрытыми, пока их наконец не открыли, не о том, чтобы показать, что все они — лишь вредные иллюзии или идеологические продукты, рассеиваемые [светом][15] наконец взошедшего в зенит разума. Речь идет о том, чтобы показать, как наложение целой серии практик — с того момента, как они согласуются в режиме истины, — как наложение целой серии практик могло стать причиной того, что то, чего не существует (безумие, болезнь, преступность, сексуальность и т. п.) сделалось между тем чем-то — чем-то, что тем не менее по-прежнему не существует. Другими словами, не о том, [как] могла родиться ошибка — когда я говорю, что то, чего не существует, оказывается чем-то, это вовсе не значит, что я хочу показать, как в действительности могла возникнуть эта ошибка, — не о том, как могла родиться иллюзия, но [о том], что я хотел бы показать [что это] определенный режим истины, а следовательно, то, что что-то, чего не существует, могло оказаться чем-то, вовсе не ошибка. Это не иллюзия, поскольку ее создает и настойчиво маркирует как реальность вся совокупность практик, и практик реальных.

Цель всех этих обращений к безумию, болезни, преступности, сексуальности и к тому, о чем я теперь говорю, заключается в том, чтобы показать, как сочленение, серия практик, образует диспозитив знания-власти, эффективно маркирующий в реальности то, чего не

существует, и закономерно подвергающий его разделению на истинное и ложное.

То, что не существует как реальность, что не существует релевантно легитимному режиму истинного и ложного, и есть тот момент, который занимает меня в той эпохе, отмеченное рождением этой асимметричной биполярности политики и экономики. Политики и экономики, которые не существуют, не являются ни ошибкой, ни иллюзией, ни идеологией. Это нечто, которое не существует и которое тем не менее вписывается в реальность, релевантную режиму истины, разделяющему истинное и ложное.

Итак, этот момент, основные составляющие которого я попытался обозначить, располагается между словами Уолпола, о которых я говорил, и другим текстом. Уолпол говорил: «*quieta non movere*», («пребывающего в покое касаться не следует»). Советы быть благоразумным, конечно, были обычны и для мудрости государя: когда люди спокойны, когда они не волнуются, когда нет недовольства и мятежа, останемся спокойными. Мудрость государя. Он говорил это, я полагаю, около 1740 г. В 1751 г. в «Экономической газете» появляется анонимная статья. На самом деле она была написана маркизом д'Аржансоном,<sup>13</sup> который только что оставил службу во Франции, — маркиз д'Аржансон напоминал о том, что коммерсант Ле Жандр ответил Кольберу, когда тот спросил его: «Что я могу сделать для вас?». Ле Жандр ответил так: «Что вы можете сделать для нас? Позвольте нам действовать»,<sup>14</sup> — д'Аржансон в тексте, к которому я еще вернусь,<sup>15</sup> говорит: итак, теперь я хотел бы прокомментировать этот принцип — «*laissez faire*»,<sup>16</sup> — поскольку, показывает он, это сущностный принцип, который должно чтить и которому должно следовать всякое правительство в области экономики.<sup>17</sup> Здесь он ясно устанавливает принцип самоограничения правительственных интересов. Но что это значит — «самоограничение правительственных интересов»? Что это за новый тип рациональности, появившийся в искусстве управлять, этот новый тип расчета, заключающийся в том, чтобы говорить и заставлять говорить правительство: «все это я принимаю, я хочу, я полагаю, я считаю, что не надо вмешиваться? Я думаю, что все это в целом и называется „либерализмом“»[16].

В этом году я решил посвятить курс биополитике. Я попытаюсь показать вам, какие проблемы занимают меня в настоящее время, как центральным ядром всех этих проблем оказывается то, что называется населением. А значит, исходя из этого и формируется биополитика. Однако мне представляется, что анализ биополитики возможен только тогда, когда понятен общий режим тех правительственных интересов, о которых я говорю, — тот общий режим, который можно назвать вопросом об истине, прежде всего об экономической истине изнутри правительственных интересов, а следовательно, если мы хорошо поняли, о чем идет речь в этом режиме, который представляет собой либерализм, сопротивляющийся государственным интересам — или, скорее, фундаментально изменяющий их, быть может, и не ставя заново вопрос об их основаниях, — как только мы выясним, что такое этот правительственный режим, называемый либерализмом, мы сможем, как мне кажется, уловить, что такое биополитика.

Надеюсь, вы простите мне, что во время нескольких наших встреч, число которых я не могу обозначить заранее, я буду говорить о либерализме. И, чтобы немного яснее обозначить свои цели — зачем нужно было бы говорить о либерализме, о физиократах, о д'Аржансоне, об Адаме Смите, о Бентаме, об английских утилитаристах, если бы проблема либерализма

не ставилась в наше время непосредственно и конкретно? О чем идет речь, когда мы говорим о либерализме, когда мы прилагаем к самим себе, в настоящее время, либеральную политику, и какое отношение это может иметь к правовым вопросам, называемым свободами? О чем идет речь в сегодняшних дебатах, в которых экономические принципы Хельмута Шмидта<sup>18</sup> курьезным образом перекликаются с теми или иными суждениями диссидентов с востока, со всеми этими проблемами свободы и либерализма? Как видите, это современная нам проблема. Затем, с вашего позволения, ситуировав точку исторического истока всего этого и показав, что, по моему убеждению, новые правительственные интересы рождаются в XVIII веке, я двинусь дальше и буду говорить о современном германском либерализме, поскольку, как это ни парадоксально, свобода во второй половине XX века, а точнее говоря, либерализм, — это слово, которое приходит к нам из Германии.

---

Версия #2

Зверобой создал 27 января 2026 05:07:40

Зверобой обновил 27 января 2026 05:11:55